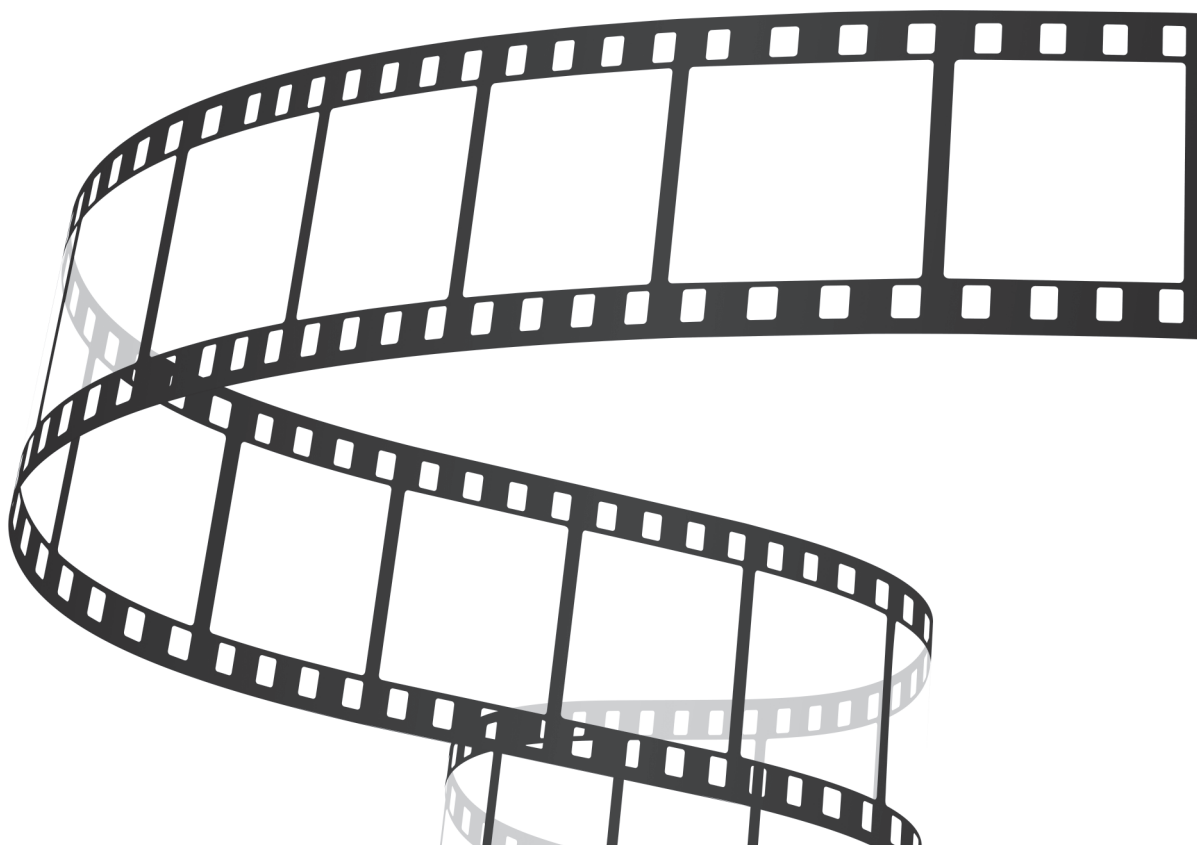


Аркадий Инин

ИСТОРИИ ДЛЯ КИНО



ЭТОТ КИНОПРОЕКТ БЕСКОРЫСТНО
ПОДДЕРЖАЛИ ИСТИННЫЕ КИНОЛЮБИТЕЛИ

Арас АГАЛАРОВ

Сергей БЕЗСМЕРТНЫЙ

Наталья КОКШЕНОВА

Леонид ОГОРОДНИКОВ

Николай ПОНОМАРЕВ

Семен РУДЯК

Алимжан ТОХТАХУНОВ

РАСПИСАНИЕ СЕАНСОВ

КИНОЖУРНАЛ4

КИНОРОМАНЫ

УТЕСОВ. Песня длиною в жизнь6

МАЯКОВСКИЙ. Два дня269

ЛЕНИН. Владимир, Надежда, Инесса530

КИНОПОВЕСТИ

Сердце снежной королевы682

Кто-то теряет, кто-то находит752

Люблю, потому что люблю820

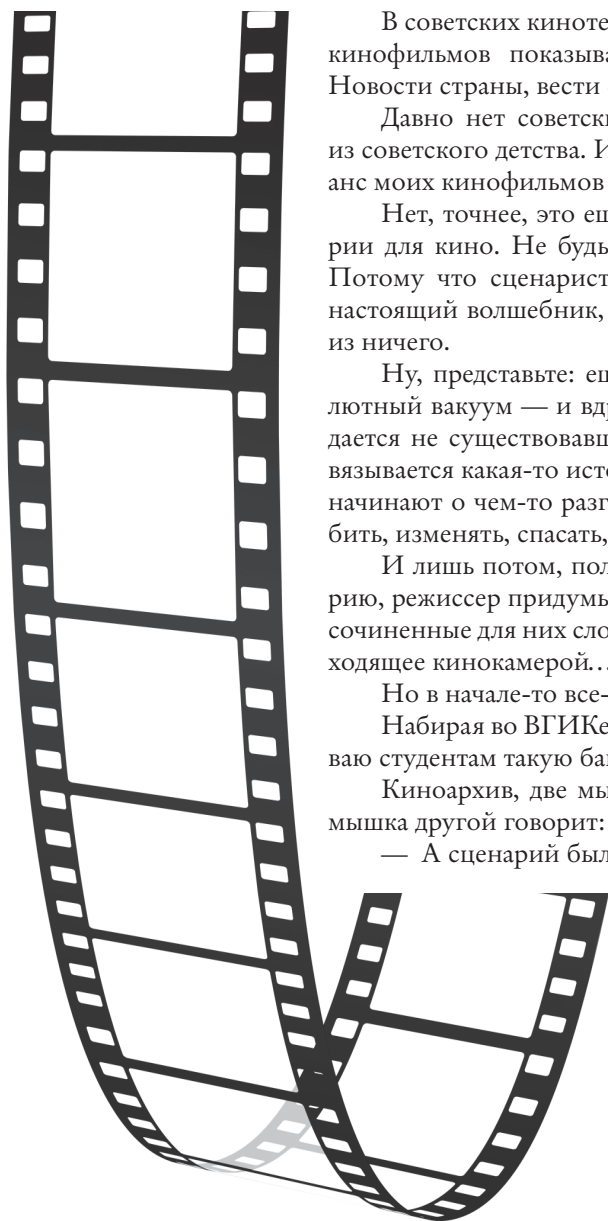
КИНОКОМЕДИИ

Одиноким предоставляется общежитие.....898

Отцы и деды931

Однажды двадцать лет спустя.....965

КИНОЖУРНАЛ



В советских кинотеатрах перед началом художественных кинофильмов показывали документальные киножурналы. Новости страны, вести с полей, заводов и шахт...

Давно нет советских кинотеатров. Но сам-то я родом из советского детства. И потому традиционно предваряю сеанс моих кинофильмов документальным киножурналом.

Нет, точнее, это еще не фильмы, это сценарии — истории для кино. Не будь сценариев, не было бы и фильмов. Потому что сценарист, извините за нескромность, самый настоящий волшебник, истинный творец, создающий нечто из ничего.

Ну, представьте: еще ничего нет, полная пустота, абсолютный вакуум — и вдруг в голове и душе сценариста рождается не существовавший до сего момента целый мир: завязывается какая-то история, появляются какие-то люди, они начинают о чем-то разговаривать, как-то действовать — любить, изменять, спасать, предавать, сдаваться, побеждать...

И лишь потом, получив рожденную сценаристом историю, режиссер придумывает как ее снять, актеры произносят сочиненные для них слова, оператор запечатлевает все происходящее кинокамерой...

Но в начале-то все-таки было слово!

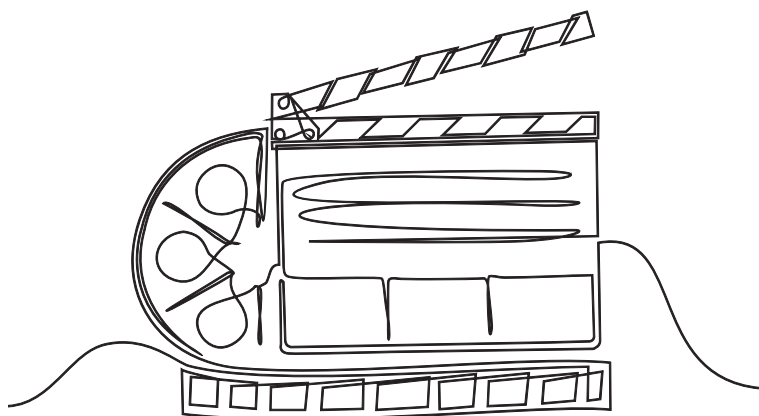
Набирая во ВГИКе новый курс сценаристов, я рассказываю студентам такую байку.

Киноархив, две мышки грызут пленку фильма. И одна мышка другой говорит:

— А сценарий был вкуснее!

КИНОРОМАНЫ

*ВСЕ КИНОРОМАНЫ СОЗДАНЫ
В СОВАВТОРСТВЕ С НАТАЛИЕЙ ПАВЛОВСКОЙ*



УТЕСОВ. Песня длиною в жизнь

кинороман

ГЛАВА ПЕРВАЯ

«ЕСТЬ ГОРОД, КОТОРЫЙ Я ВИЖУ ВО СНЕ»

МОСКВА, 23 АПРЕЛЯ 1965 ГОДА

Москва была еще не многоэтажная. Только семь сталинских высоток — МГУ, МИД и МПС, гостиницы «Ленинградская» и «Украина», дома на Котельнической набережной и площади Восстания — торчали, как памятники ушедшей эпохи. Москвичи считали их «вставными зубами», уродующими город. Так когда-то французы тоже на дух не принимали Эйфелеву башню. А потом творение Эйфеля стало неотъемлемым символом Парижа. Станут такими же символами Москвы и эти острроверхие сооружения, но не сейчас, в шестьдесят пятом, а значительно позже.

Пока же на московских окраинах росли кварталы «черемушек» или «хрущоб» — убогих блочных пятиэтажек. Которые тогда новоселам казались вовсе не убожеством, а счастливейшим разрешением жилищной проблемы, подарившим тысячам москвичей их мечту — отдельную квартиру. С крохотными комнатками, низкими потолками, совмещенным санузлом, но — отдельную, свою, и это было счастье!

«Хрущобы» строились, а самого Хрущева уже не было. Вернее, еще жил-поживал Никита Сергеевич, но уже не всесильный Первый секретарь ЦК КПСС и Председатель Совета Министров СССР, а рядовой пенсионер, которого полгода назад съели — скушали, схрумкали и не подавились — верные друзья и ближайшие соратники.

Отставкой Хрущева закончилась великая политическая «оттепель», и начался грядущий «застой» под руководством Брежнева.

А в остальном, не считая высоток и «хрущоб», Москва оставалась прежней — старинный центр, Красная площадь, башни Кремля, мосты на Москвой-рекой. На вечерних слабоосвещенных улицах было много людей, но еще совсем мало машин. По одну сторону Большого Каменного моста на месте бывшего (и через тридцать лет — будущего) Храма Христа Спасителя пока еще размещался бассейн «Москва», а по другую — знаменитый «дом на набережной» с Театром эстрады.

Туда, в театр, мы еще придем, а пока заглянем в уже не менее знаменитый дом — жилищный кооператив Большого театра на Каретном ряду. В этом доме жили не только певцы и балерины, но и многие известные деятели культуры других жанров.

Жил здесь и Леонид Осипович Утесов.

И сейчас в его квартире из шикарного прибалтийского приемника «Ригонда» звучит знакомая каждому советскому человеку песня «Дорогие мои москвичи» в исполнении дуэта Утесова и его дочери Эдит:

*Затишает Москва, стали синими дали,
Ярко блещут кремлевских рубинов лучи.
День прошел, скоро ночь. Вы, наверно, устали,
Дорогие мои москвичи.
Можно песню окончить простыми словами,
Если эти простые слова горячи.
Я надеюсь, что мы еще встретимся с вами,
Дорогие мои москвичи!
Ну что сказать вам, москвичи, на прощанье?
Чем наградить мне вас за вниманье?
До свиданья, дорогие москвичи, доброй ночи,
Доброй вам ночи, вспоминайте нас...*

Леонид Осипович — уже грузный, но еще крепкий, уже седеющий, но с еще молодыми глазами, — стоит посреди комнаты, тоскливо подчиняясь рукам шустрого портного, заканчивающего подгонку на нем нового костюма.

Перед старинным, карельской березы, трельяжем наносит последние косметические штрихи сорокалетняя и, увя, слегка увядающая красавица — дочь Дита.

В углу застыл с несколькими галстуками на согнутой руке все еще невероятно привлекательный, с латиноамериканскими жгучими глазами и усами, Алик — муж Диты, кинорежиссер-документалист Альберт Генденштейн.

*А когда по домам вы отсюда пойдете,
Как же к вашим сердцам подберу я ключи,
Чтобы песней своей помочь вам в работе,
Дорогие мои москвичи?
Синей дымкой окутаны стройные здания,
Ярче блещут кремлевских рубинов лучи...
Ждут вас завтра дела, скоро ночь, до свидания,
Дорогие мои москвичи!*

Утесов вдруг нервно вскрикивает:

— Дита, выключи кричалку, я уже слышал это произведение!

Рука Диты, подносящей щеточку к глазу, чуть вздрагивает: она знает, очень хорошо знает, от кого у отца эти дурацкие словечки: «кричалка» вместо радио, «чесалка» вместо расчески, «обалденочка» вместо водки... Но Дита ничем не выдает свое знание, а послушно встает, чтобы выключить приемник. Однако песня уже закончилась, и звучит голос диктора: «Конечно, песня „Дорогие мои москвичи“ дорога не только москвичам, но и всем советским людям, которые поздравляют всенародно любимого артиста Леонида Осиповича Утесова со славным юбилеем — семидесятилетием!»

Все верно, дожил. Семьдесят. Когда? Как столько лет пролетело? Не заметил. Просто жил, жил, жил — и дожил. А диктор по радио продолжает заливаться бессмысленным со-

ловьем: «В этот радостный и знаменательный для каждого человека день человек оглядывается на свою человеческую жизнь и по-человечески задумывается: что же сделано за эти семьдесят лет...»

— Эту цифру я тоже уже слышал! — торопит Утесов дочь.

Дита наконец выключает приемник. Но отец не успокаивается:

— И закрой простудилку!

И снова глаз Диты чуть дергается, реагируя на очередное дурацкое словечко. Но она переспрашивает ровным голосом, как ни в чем не бывало:

— Что, папа?

— Я говорю, закрой форточку! На улице прохладно!

— О, есть такой анекдот! — оживляется портной.

Этот портной — не просто так себе портной. Этот портной — Исаак Соломонович Затирка. Фамилия такая. Не просто фамилия — легенда.

Дело в том, что во времена тотального советского дефицита деньги не решали ничего. Все решали связи. Проще и грубее — блат. По блату получали квартиры и поступали в институты, по блату доставали шапки-ушанки и колбасу-сервелат, по блату добывали билеты на поезд и место на кладбище...

Но был блат на уровне директора магазина, начальника ЖЭКа или кассирши в театре, а был блат на высшем уровне. Парикмахер, который делал прически женам членов ЦК КПСС, механик, который ремонтировал машины в гараже КГБ, портной, у которого шили лучшие представители творческой интеллигенции, не ниже уровня народных артистов.

Таким портным и был Затирка, человек, приехавший из Одессы, герой историй, колоритом и числом не уступающих анекдотам про Ходжу Насреддина. Например, история, свидетельствующая о том, что уже в те времена было непримиримое состязание двух столиц России — Москвы и Ленинграда. Так вот, ленинградский писатель приехал в Москву, пришел к Затирке и надменно попросил сшить ему костюм не хуже того, который ему сшил знаменитый ленинградский портной. Затирка долго и тщательно осматривал костюм ленинградца, исследовал каждый шов и пуговицу. А потом спросил: «Так кто вам шил этот костюм?» — «Я же сказал, его сшил самый известный портной Ленинграда!» — «Да-да, это я слышал, но кто он по профессии?»

Портной Затирка не только порождает анекдоты, но и любил их рассказывать. Вот и сейчас, после утесовской реплики про форточку, портной оживляется:

— О, есть такой анекдот!

И, не прекращая колдовать над костюмом, рассказывает, как один еврей просит жену закрыть окно, потому что на улице холодно, а жена удивляется: «Изя, что за глупости! Если закрыть окно, так что — на улице станет теплее?»

Портной хихикает. Утесов бросает на него испепеляющий взгляд:

— К вашему сведению, товарищ Затирка, бог сотворил мир за шесть дней. А вы возитесь со штанами целый месяц!

Портной насмешливо парирует:

— Так вы таки посмотрите на этот мир — и на эти бруки!

Честно говоря, Утесов крыть нечем. Красавец-зять не выдерживает пассивной роли наблюдателя и прикладывает к пиджаку тестя полосатый галстук:

— Этот, по-моему, в тон... Советую...

— Алик, советуй своей жене! А я на сцене всегда в одном и том же галстук!

Вообще-то, Альберт про это знает. И все близкие знают, что Леонид Осипович почти всегда, особенно на ответственные выступления — а уж сегодня куда ответственней! — надевает один и тот же залоснившийся от многолетнего употребления черный галстук.

— Талисман? — догадывается словоохотливый портной. — Знаете, у меня тоже был талисман: старая зингеровская иголка. И вы не поверите, но когда я эту иголку потерял...

Последствия этой потери остаются неясными, так как звонят в дверь. Утесов взволнованно вскрикивает:

— Алик, что ты стоишь, открой уже!

Альберт уходит и возвращается с кипой телеграмм, читая их на ходу:

— От Сыктывкарской филармонии... От госпиталя Министерства обороны... Просто земляки из Одессы, без подписей... Команда эсминца «Дерзкий»...

Утесов слушает поздравительный перечень раздраженно и с явным напряжением. Дита мягко улыбается:

— Папа, ты думаешь, правительственные телеграммы почтальоны носят?

— А что, телеграммы сами ходят? — пытается улыбнуться в ответ Утесов.

— Нет, тебе все принесут в театр.

— Ага, принесут они...

— Конечно, я уверена, обязательно дадут...

— Ага, дадут они...

— Точно дадут, сама Фурцева приедет.

— Ага, приедет она...

Дита не выдерживает однообразного брюзжания отца и взрывается:

— А не дадут — так не дадут!

Утесов застывает, как от выстрела в спину. То есть что это значит — не дадут?! Такое даже невозможно представить. Он шел к этому семьдесят лет. Он спел сотни песен. Он покорила сердца миллионов. Он стал воистину народным артистом по сути. Так почему же не стать им и по званию — «народный артист Советского Союза».

Слаб человек! Вроде все у него есть... нет, не вроде, а действительно все: фантастическая любовь зрителей, уважение и зависть коллег, благосклонность высшего руководства; есть ордена и медали, есть звания — «заслуженный» и «народный» России. Да, но — только России... Последнее время он спал мало и плохо. Долго ворочался, забывался кратким сном и вздрагивал, просыпаясь от тревожных сновидений. И дятлом долбила одна мысль: дадут — не дадут?

Дита его успокаивала, но сама, честно говоря, думала о том же. И его коллеги, знакомые, друзья и недруги думали о том же. Прикидывали, судачили, как ильфо-петровские «пикейные жилеты», взвешивали все за и против.

С одной стороны, как не дать, ведь такой человек — кумир, мастодонт, корифей эстрады... Да, но с другой стороны, всего лишь эстрады, а не театра и не кино... С одной стороны — великие песни, но с другой — были ведь и не великие, и даже сомнительные... С одной стороны — конечно Утесов, но с другой — все же изначально Вайсбейн...

А время неумолимо летело, и день юбилея неотвратимо приближался, и вот уже он настал, но до сих пор не ясно: дадут или не дадут Леониду Осиповичу Утесову высокое звание «народный артист СССР».

— А не дадут — так не дадут! — не выдержав, взрывается Дита. — Райкину на пятьдесят не дали — и ничего! Жив, здоров, работает...

— Аркаша — еще мальчишка! — запальчиво возражает Утесов. И махнув рукой, переключается на портного: — Ну что, что? Сколько еще ждать?

Великий портной Затирка флегматично отвечает:

— Гораздо меньше, чем вы уже ждали...

МОСКВА, ТЕАТР ЭСТРАДЫ, 23 АПРЕЛЯ 1965 ГОДА

Зал Театра эстрады полон — лучшие люди искусства, цвет Москвы и страны: Михаил Жаров и Фаина Раневская, Аркадий Райкин и Мария Миронова, Сергей Образцов и Клавдия Шульженко, Зиновий Гердт и Лидия Русланова...

Слышится ровный гул голосов, все смотрят на пустую сцену, где висят портрет Утесова в лавровом венке и две цифры: «70» — его возраст и «55» — его стаж в искусстве.

И все ждут. Ждут не юбилейной церемонии, не блестящего действия, не потрясающего концерта... То есть, нет, конечно, всего этого ждут, но и так понятно, что это все будет, однако не это сейчас главное. А главное все то же: дадут — не дадут?

Вообще-то, семьдесят лет Утесову исполнилось еще в марте. Но ясности с присвоением звания еще не было. Поэтому и с празднованием тянули, тянули и дотянули уже до апреля. А ясность так и не появилась. Но дальше тянуть с юбилеем было некуда. Тем более что пронесся слух: точно дадут. Вот и назначили день торжества. Однако пока слух оставался слухом. А точно сообщить (или не сообщить) об этом могла лишь министр культуры СССР Екатерина Алексеевна Фурцева. Но Фурцевой до сих пор не было.

За кулисами поглядывают на пустую сцену Утесов — в новом костюме, Дита — в платье с мехами и ведущий вечера режиссер Иосиф Туманов — в смокинге с бабочкой. Утесов нервничает:

— Я никогда не заставляю зрителей ждать!

Туманов спокойно парирует:

— Ждут не тебя, а Фурцеву.

Утесов закипает:

— В конце концов, это мой юбилей или Фурцевой?

— Твой, папа, конечно, твой, — поглаживает его плечо Дита.

— Да, Лёдя, юбилей твой, — улыбается Туманов. — И значит, ты уже большой мальчик и понимаешь, что министр культуры сама не решает.

Ну, конечно, он все понимает. Отлично понимает, что Фурцева при всей любви к нему не может просто сама взять и выдать ему «народного» из своего кармана. Понимает, что это рассматривают в разных инстанциях, взвешивают, обсуждают... Да, все он понимает. Он только не понимает одного: какого черта они рассматривают, взвешивают и обсуждают? Он не понимает, какого еще рожна им нужно, чтобы дать ему то, что он сто лет как заслужил!

А Туманов все журчит ему на ухо с ласковостью гипнотизера, что решения такого уровня принимает ЦК и Президиум Верховного Совета, а там и других вопросов хватает, видимо, они до этого еще не добрались, а Фурцева сидит и ждет, и обязательно дождетя...

Тем временем гул голосов в зале нарастает. Многие нетерпеливо поглядывают на часы. Утесов смотрит в шелку занавеса на волнующийся зал и дергается еще больше:

— Оркестр готов?

— Оркестр готов, — заверяет Туманов и добавляет, предупреждая очередные вопросы: — И балет готов, и поздравляющие ждут, и цветы-подарки на месте. Слушай, Лёдя, на эту тему есть чудный анекдот...

— Да что меня сегодня все кормят анекдотами! — взрывается Утесов. — Все, начинаем!

Он решительно направляется из кулис на сцену.

— Папа! — пытается удержать его за рукав Дита.

Но он отбрасывает ее руку. А что — характер! Босаяцкий, одесский характер. Конечно, за долгие годы жизни он пообтесался, пригладился, стал благообразней, научился ждать, терпеть, может даже лишний раз поклониться... Но только до поры до времени. А когда припечет, он не станет вилять и кланяться, он распрямится и пойдет крушить направо.

Утесов распрямляется и делает решительный шаг из кулисы на сцену... Но на этот раз пронесло: из противоположной кулисы появляется министр культуры СССР Екатерина Алексеевна Фурцева.

Ах, красавица Катерина, Катерина Великая! Ладная, статная, с косой-коронаой вокруг головы бывшая ткачиха привлекла внимание Никиты Сергеевича. И Хрущев поднял ее на небывалую высоту — не только министра культуры, но и единственной женщины — члена Президиума ЦК КПСС. Ну, само собой, ходили сплетни про особые отношения Хрущева с Фурцевой, но не в том дело, ей-богу, не в том. Катя Фурцева была хороша на посту министра культуры. Не для всех хороша, но для очень многих. Рука у нее была горячая, нрав вспыльчивый, кое-кому от нее доставалось под горячую руку. Но при этом она стольким помогла, столько судеб актерских устроила, столько спектаклей спасла от карающего меча партийной цензуры... Нет, она не была диссидентом и борцом за справедливость. Но она была женщина, и вполне могла расплакаться на трогательной постановке или мелодраматическом фильме. А искренние слезы смягчают души и нравы. Так что не зря, не зря назначил ее Никита Сергеевич министром культуры.

Правда, сейчас уже Хрущева нет, но Фурцева еще остается на своем посту. Хотя доживает на нем последние дни. И находится не в лучшей форме — моральной и физической, да и попивает она последнее время. Но сейчас она на высоте — в строгом костюме а-ля «член правительства», на высоких каблуках, с красной кожаной папкой в руке. Зал мгновенно затихает. В абсолютной тишине слышен лишь цокот каблучков Фурцевой. Она подходит к микрофону, открывает папку и безо всяких предисловий начинает читать:

— Указ Президиума Верховного Совета СССР...

Больше она ничего не успевает сказать — зал взрывается овацией. Всем уже и так все ясно. Дали!!!

Фурцева слегка вздрагивает, но ее строгое лицо смягчает понимающая улыбка. Она властно поднимает руку, зал послушно стихает. И Фурцева все-таки дочитывает:

— За большой вклад в развитие советского музыкального искусства присвоить Утесову Леониду Осиповичу почетное звание — «народный артист СССР»!

В зале снова шквал аплодисментов. Таких яростных, как будто это его — зала — личная победа. А застывший в кулисах Утесов вдруг обмякает, словно из него выпустили воздух, и как-то устало и негромко говорит сам себе:

— Дали... Таки дали... Ну и что?..

Он впадает в знакомое всем состояние, когда бессонными ночами напряженно готовишься к главному экзамену, а потом сдаешь его — и наступает полное опустошение. Но Дита торопит отца:

— Папа, иди! Иди же, папа!

Утесов встряхивает головой, мгновенно надевает свою обаятельнейшую улыбку — а как же, профессионал! — и выходит на сцену.

Зал встает и аплодирует стоя. Фурцева вручает Утесову папку. И весомо сообщает всем:

— Хочу отметить, товарищи, что Леонид Осипович — первый... я подчеркиваю, первый артист эстрады... которого партия и правительство удостоили столь высокого звания!

Фурцева выжидающе смотрит на Утесова. И он оправдывает ее ожидания. Серьезнет, делает торжественное выражение лица, настраивает голос на взволнованную глубину:

— Уважаемая Екатерина Алексеевна! Разрешите мне высказать искреннюю и глубокую благодарность за эту высокую награду нашей дорогой коммунистической партии и советскому правительству! — Он умолкает, словно сомневаясь в уместности дальнейших слов, но все же решается и широко улыбается: — И еще спасибо моей родной Одессе!

Екатерина Великая в некотором недоумении чуть приподнимает бровь. Но зал расслабляется и снова восторженно аплодирует. Да еще ведущий Иосиф Туманов, смягчая ситуацию, дает отмашку оркестру, и звучит, пожалуй, самая главная песня Утесова:

*Есть город, который я вижу во сне.
О, если б вы знали, как дорог
У Черного моря открывшийся мне,
В цветущих акациях город
У Черного моря...*

И Утесова уже не удержат, и он уже забыл про официоз и церемониал, и он расплывается в трогательной улыбке, и почти по-дружески сообщает и Фурцевой, и всему залу, и всему миру своим неповторимым голосом — с характерной хрипотцой и одесским говорком:

— Вы ж понимаете, шо многие бы хотели родиться в Одессе, но не всем это удастся! Для этого надо, шоб, как минимум, ваши родители хотя бы за день до вашего рождения попали в этот город. Но не все ж могут себе это позволить. А мои — всю жизнь там прожили...

ОДЕССА, ВЕСНА 1895 ГОДА

Волны Черного моря накатывают на берег, сверкая брызгами в ослепительных лучах южного солнца. Но до пыльного переулочка в районе Малой Арнаутской и Привоза море не достает, и солнце сюда пробивается с трудом сквозь тень деревьев и виноградной лозы.

Треугольный переулок, дом 11. Двухэтажный дом и типичный одесский дворик, опоясанный по всему периметру деревянной галереей с железными витыми перилами. Ворота — тоже железные — ведут из двора в переулок. На левой стороне дома — тяжелая резная дверь. Если войти в нее и подняться на второй этаж по очень крутой лестнице с выщербленной итальянской плиткой, то можно добраться до квартирки из трех комнат — две крошечные, окна во двор, и одна побольше, окна на улицу. Здесь живет семья Вайсбейнов.

А на первом этаже, напротив водяной колонки, проживает мадам Чернявская — известная повитуха, принимавшая всех младенцев в этом дворе, и во дворе рядом, и во дворе напротив, и во всех дворах Треугольного переулка и окрестностей. В ее квартиру и врывается поздним вечером разбитная голосистая девка Маня:

— Мадам Чернявская! Хватайте свой чемоданчик и скачите у пятнадцатую квартиру! Мадам Вайсбейн сейчас рассыплется на кусочки!

Грузная повитуха, в платке, заправленном за уши и подвязанном у подбородка, отрывается от пасьянса, который она раскладывала на столе, покрытом вязаной из ниток скатертью.

— Тихо, ша! И почему это в Одессе имеют моду рожать на ночь глядя, когда нормальные люди уже готовы скушать свой штрудель и спокойно отдохнуть...

Продолжая ворчать, повитуха собирает докторский чемоданчик и меняет домашние тапки на уличные чоботы. Маня приплясывает от нетерпения у порога:

— Ой, ну шо ж вы копаетесь, как на похороны!

— Ай, на каждые роды будут свои похороны...

Маня выхватывает из рук повитухи чемоданчик и первой вылетает за дверь.

А в свою квартиру, открыв дверь ключом, устало входит хозяин — Иосиф Вайсбейн.

Он очень аккуратный человек — в отглаженном костюме, в начищенных ботинках, с довольно пышными, но тщательно подстриженными усами и с потертым, но чистеньким саквояжем в руке. Он аккуратно снимает сюртук, обмахивает его щеткой и вешает на плечики. Снимает золоченое пенсне, бережно укладывает в футляр, кладет футляр в комод, а оттуда извлекает простенькие очки, подвязанные веревочкой.

Но тут из соседней комнаты доносится женский стон. И степенный Иосиф, потеряв всю свою размеренность, бросается в комнату, где лежит на широкой супружеской постели его жена Малка. Лоб у нее весь в испарине.

— Малочка, что? Или уже началось?

Вместо ответа врывается Маня, таща за собой повитуху мадам Чернявскую.

— Холоднокровней! — ворчит повитуха. — Это если бы мадам Вайсбейн имела первое дитя, так я бы еще нервничала, а то уже, слава богу, четвертый визит...

Иосиф падает на колени перед женой, хватая ее за руку:

— Малочка, душа моя! Больно, да? Больно?

Малка лишь тихо стонет — черные пряди волос прилипли к мокрому лбу. А повитуха грозно заявляет Иосифу:

— Мосье Вайсбейн, сделайте так, чтобы вас здесь не было!

Девка Маня уже тащит таз с горячей водой. Повитуха расстилает белые простыни. Растерянный Иосиф плетется в кухню. И смотрит, не видя, в темное окно, нервно постукивает пальцами по стеклу. В кухню влетают мальчик Миша и две девочки, Клава и Прасковья, — в длинных ночных сорочках.

— Папочка, папочка, Миша говорит, что у нас будет братик! — кричит Клава. — А мы с Песей — что будет сестричка!

Появление детей мобилизует папу Иосифа, и он с максимально доступной ему строгостью переключается на воспитательную работу:

— Дети, во-первых, вам нужно спать! А во-вторых, кто будет — я не знаю...

— А я знаю — братик! — заявляет Миша.

— Нет, сестричка! — хором возражают девочки.

— Нет, братик! — дергает Клаву за косичку Миша.

— Нет, сестричка! — дает ему тумака Клава.

— Дети, не ссорьтесь! — вмешивается папа Иосиф. — Идите спать!

Появляется сияющая Маня:

— Мосье Вайсбейн, у вас — девочка!

Девчонки прыгают, показывая брату Мише «носики»:

— Сестричка! Ага, сестричка!

Из комнаты зовет повитуха:

— Манька, сюда иди!

Манька убегает. Папа Иосиф уже строго приказывает:

— Все, дети, я сказал: спать!

Мальши нехотя, продолжая тайком шпынять другу дружку, удаляются. Папа Иосиф взволнованно одергивает сюртук и направляется в комнату. В дверях его встречает повитуха:

— Мосье Вайсбейн! Вы будете сильно смеяться, но у вас двойня!

Папа Иосиф столбенеет:

— Как... двойня?

— Так, двойня! — усмехается повитуха. — Представьте себе, это бывает... Девочка, а потом таки мальчик.

— Что же вы сразу не сказали! Какое счастье — второй сын!

— Я вас поздравляю с этим счастьем, мосье Вайсбейн!

Папа Иосиф благостно улыбается, потом спохватывается:

— А как она?

— Ой, не берите в голову! Мадам Вайсбейн такая справная женщина, что может родить вам целый синагогальный хор!

Измученная мама Малка сидит на кровати, опираясь на гору подушек, а рядом — два кулечка с новорожденными: мальчик и девочка, сын и дочь. Папа Иосиф нежно гладит распущенные волосы жены. И смотрит ей в глаза, и молчит, и думает, как ему повезло в жизни.

Впрочем, он сам себе устроил это еврейское везение и счастье. Потому что неожиданно для всей своей зажиточной семьи, да и, честно говоря, для себя самого он не дал

слабину. А поступил, как настоящий мужчина. Так считал он. Или — как настоящий босяк. Так кричал его отец. А было вот что: Иосиф привел в дом родителей невесту. Тоненькую черноглазую девчущку Малку Граник. Из очень бедной, да просто нищей семьи. Отец сказал Иосифу: «Нет!» Иосиф сказал отцу: «Да!» Отец сказал Иосифу: «Я выгнать тебя из моего дома!» Иосиф сказал отцу: «Я сам уйду!» Оба сдержали свое слово. Отец его выгнал, Иосиф ушел. И женился на любимой своей Малочке, и больше никогда не появлялся в родительском доме.

И вместо обеспеченной жизни богатого наследника стал вести тяжкую жизнь лепетутника. На одесском жаргоне «лепетутник» — это мелкий торговец, посредник в разных коммерческих сделках, маклер для разовых поручений... В общем ничего стабильного, ничего определенного — ни работы, ни заработка. Все зыбко, сиюминутно и воздушно. Мудрый Шолом-Алейхем называл таких людей — «человек воздуха».

Папа Иосиф гладит маму Малку по взмокшим волосам:

— Спасибо, родная моя! Два мальчика и три девочки! Или есть кто-то меня счастливей?

— И все это счастье хочет кушать, — вздыхает мама Малка. — Ох, Йося, с другой женой ты бы купался в деньгах, как утки в луже на Слободке...

— Не говори так, не рви мне сердце! Если мои родители не имели души и из-за бедной невесты отказали мне в деньгах, так пусть забирают их на тот свет! Пусть попробуют купить там на эти деньги хоть полфунта любви и благодарности...

Малка слабой рукой гладит руку мужа. Один из новорожденных — мальчик — разражается пронзительным криком. Мама Малка прикладывает его к груди. А папа Иосиф улыбается:

— С таким голосом он будет невроку хорошим кантором!

Одесса начала века — это кривые улочки и прямые бульвары, корабли и биндюжники в порту, церкви, мечети и синагоги, трамвай-конка и рынок Привоз, который круглый год ломился от фантастического изобилия мяса и рыбы, молока и сладостей, овощей и фруктов... Но какое бы изобилие еды ни царило на Привозе, мама Малка никогда не давала детям целое яблоко или пирожное, а только пол-яблока или полпирожного. От этого сладкое казалось еще желанней и слаще.

Удар ножом — и яблоко разделено на две части. Мама Малка выдает половинки на десерт стоящим перед ней детям — старшему сыну Мише и дочери Клаве.

— Спасибо, мамочка! — хором благодарят дети и уносятся.

В семье Вайсбейнов завтрак, обед и ужин — всегда в точно определенное время. И за столом каждый сидит точно на своем месте. Еще удар ножом — и еще одно яблоко разделено на половинки. Одну мама подает маленькой Полине. Вторую половинку вертит в пальцах:

— И где же Лёдя?

— Не жнаю, мамочка! — отвечает Полина, близнец Лёди, не выговаривая половину букв.

Малышка убегает за старшими. Мама Малка раздумывает еще секунду и протягивает пол-яблока папе Иосифу:

— Ешь, Йося!

— А как же Лёдя?

— Ребенок должен знать порядок! Не пришел к обеду — ходи голодный!

— Но...

— Ешь!

Иосиф нехотя берет яблоко, но тут вбегает разбитная девка Маня.

— Малка Моисеевна! Вы побежите, погляньте, где ваш Лёдка!

Папа и мама спешат по галерее второго этажа, опоясывающей внутренний дворик. Откуда-то доносятся звуки скрипки. Мелодия становится все громче.

Вбежав в коридор, они видят трехлетнего сына, свернувшегося калачиком под дверью. Здесь живет учитель музыки Гершберг. И там, за дверью, сейчас поет его скрипка. Мама Малка бросается к лежащему на полу сыну.

— Лёдя! Что ты тут валяешься, как беспризорник! И что подумает маэстро Гершберг?

Папа Иосиф ее останавливает:

— Тише, он спит..

Родители склоняются над уснувшим малышом. Мама бережно берет его на руки.

— Ой, горе ты мое!

Папа поправляет задрвшуюся рубашонку сына. Лёдя открывает глаза, прижимается к материнской груди и сонно улыбается:

— Мамочка... Там хорошо... Там — музыка!..

Мелодия скрипки за дверью становится все нежней и возвышенной.

Совсем другая музыка — разудалая, народная, многоголосая музыка одесской речи — звучит на Привозе, по которому бредет семилетний Лёдя.

— Сахарно-о морожено-о! — тенором заливается мороженщик.

— Кавуно-ов! На разрез кавуно-ов! — басит усатый продавец арбузов.

— Селк! Цисуца! Селк! — шепелявит китаец, торгующий тканями.

— Туфлы грецески! Грецески туфлы, батынки! — бубнит грек-обувщик.

Дородная мамаша со скрипичным футляром в одной руке другой тащит за собой тщедушного пацана в бархатной курточке и с бантом на шее. Мальчик пытается затормозить у тележки мороженщика.

— Мамочка, мороженое! Ну, мороженое!

— Боже упаси! У тебя может приключиться ангина, а потом — менингит головы! Как ты будешь играть на скрипке?

— Но я же играю руками, а не головой!

Этот аргумент не убеждает маму, она тащит вундеркинда с бантом дальше. Лёдя, проводив бедолагу сочувственным взглядом, протягивает торговцу копеечную монетку и важно приказывает:

— На все!

Мороженщик усмехается, берет самый маленький вафельный рожок, зачерпывает круглой ложкой один шарик мороженого, шлепает его в рожок, протягивает мальчику. Лёдя поспешно слизывает стекающую каплю драгоценного лакомства. И хмуро наблюдает, как мороженщик накладывает разодетой девчонке-толстухе целую горку мороженого в самый большой рожок. Девчонка замечает его взгляд, отхватывает немалый кусман мороженого и показывает Лёде испачканный язык.

А Лёдя убегает с Привоза, несется на Итальянскую улицу, мимо тенистых пла-танов, по булыжникам, по кривым улочкам, пересекает Дерibasовскую и вылетает на Николаевский бульвар.

Здесь тоже звучит музыка. Много музыки. По случаю воскресного дня в излюбленном месте прогулок горожан — от здания Городской думы до Воронцовского дворца, где бывал Пушкин — в центре бульвара на круглой площадке играет духовой оркестр. В ресторане под навесом — итальянский оркестрик. А в пивной без навеса — румынский. Играют они по очереди, друг другу не мешая.